

ЛИТЕРАТУРНАЯ ПРЕМИЯ «БУНИНСКИЕ ОЗЕРКИ»–2024

Ольга Сергеевна Зюкина (34 года) – слушательница Высших литературных курсов в Литературном институте имени А.М. Горького. Работы входили в шорт-лист «Русского Гофмана» (2024). Лауреат 3-й степени конкурса миниатюр имени Ю. Куранова (2024), победитель конкурса «Золото русской литературы» (2023), финалист конкурса «Мыслящий тростник» (2023).

ЖАР

Печь гудела, раскаленным ртом пожирала воздух, причмокивала крошками выщербленных кирпичей и требовала добавить дров. Банщик в холщовой бирюзовой рубаше пригоршнями подгонял воду из ушата в ковшик, из ковшика на угли, а те проглатывали ее на лету, не давая упасть. Черная-пречерная пасть глотала кислород и выдыхала пар. Пар пытался убежать, улететь, раствориться; топтался наверху у бревен, у тесовых досок; забивался в щели и царапины созревшего и лопнувшего, как переспелая слива, дерева; отхватывал аромат у полыни, у засушенных ягод черники на веточках, что вперемешку с дубовыми вениками повисли на гвоздях, впившихся в деревянные жилы бревен. Он старел, тяжелел, отчаявшись прорваться и вырваться, остывал и ложился, ложился слоями, стелился, обнимался, рассыпался на капли.

Щелкнул кран, вода в лохань, из лохани в ковшик. Из жидкого в пар,

из холодного в раскаленное, и ну метаться – то вверх, то в стороны, то вниз. А внизу уже занято: там улегся, свернулся, законопатил, как паклей, все щели раскаленный воздух.

Душно. Душит. Духота.

В печи трещит, гудит и немного воет. У банщика черный веер, лица не видать, лицо красное, багровое, расцвело надувшимися венами лицо его. Веер волной. Сверху вниз, снизу вверх, как заслонкой, как раскаленной дверцей, – едва прикрываешься горячей рукой от взбитого, как пуховое одеяло, пара.

На губах солоно от пота, и горько от полыни, и сладко от черники. И перебраться бы с верхних полатей на нижние, да уже поздно, уже веер повсюду, а он хозяин, он повелитель, лопастями, лопастями вокруг, а потом по телу, как пощечины, только мягкие, словно в опару лицом и не отклеиться.

– Прогреемся, хорошенько прогреемся, а потом – в купель.

В купель, хочу в купель, в купель!
Опять скрипнуло, в пригоршню, между пальцев в лохань, в ковш, на угли. Широкая пасть. Пасть. Пасть. Пасть. И гудит в печи. Только бы не упасть, не упасть, не у...

— Ба-а-а-бушка, — а по щекам солено-потное, сладко-черничное, горячее, горько-полынное, — ба-а-а-а-бушка, — тихонько так, вдруг банщик услышит, вдруг заметит и на меня лопастями-лопастями. Веером-веером-веером.

Ледяная рука рядом, откуда? Почему она не загорелась тоже, не раскалилась, не пропиталась, она же из печи, из теста!

— Достань полено из печки и убей меня, чтоб я не мучилась, — шепчу руке.

Банщик выплеснул лохань. Я испарилась, испарилась, хочу улететь, но места нет — ни вверху, ни внизу.

То ли банщик говорит, то ли пар силится выдохнуть, а слышится бабушкиным голосом — заботливо-повелительным:

— Бегом в купель. Не прыгай, с ног начинаем, так, ниже, ниже, вдох и... с головой!

Накрыло, стиснуло ледяной водой, и сердце не поспевает греть тело. Десять секунд. Пока не вынырнула, пока не вытащили, вижу небо наверху, но мутное, расплывчатое, через толщу воды — не небо, а подобие.

— Теперь обратно и греемся, — властно-повелительно.

Иголки сначала по губам, по щекам, а затем по ногам, рукам и животу.

Не солено, не сладко, не горько.

Открываю глаза — скругленные спинки почерневшего сруба прыщиками срезанных сучков смотрят на меня. Четкие линии вокруг, ни одной размытой. И пара нет, и бани нет, и спины в холщовой рубахе тоже нет.

— Пятый день горит, — срывается заботливый голос за печкой. Наверное, хочет спросить, выживет ли, но боится ответа.

— Грипп. Рецидивирующее свойство, — отрезает кто-то чужой.

Скукожились, сморщились от мертвых книжных слов букетики черники и веники дубовые.

— Она мне говорит... — запнулась, — поленом из печки убей меня, — всхлипнула, а руки-то дрожат, точно дрожат, белые как тесто, сладкие как булочки.

А пахнет, пахнет чем? Пирожками? И звонко, насколько можно, кричу из-за печки:

— Бабушка, пить!

Наутро солнце намазало сливочным маслом света большой ломоть одеяла на кровати. Глаза выпустили душу на волю — смотреть не насмотреться, радуется глаз четкости линий. Выздоровела девочка.

И долго жила-была.

И счастливо жила.

И несчастливо тоже жила.

И детей родила. И к родителям на кладбище ходила.

А когда банщик пришел мучить паром бабушку, не было в доме печки, да и дом был не тот, каменный да гладкий изнутри — не вбить в бревна

гвоздики, не навешать сушеной черники и листов лавровых.

И не отпускал банщик бабушку из своей парилки, и пластыри, под строгий рецепт выписанные, не помогали, и уколы. И лишь однажды, перед тем как превратить измученное тело в пар, дал банщик вынырнуть бабушке из купели, дал ей сил сжать мою руку и сказать:

— Страшно мне...

И услышать мои глупо-бестолковые слова тоже дал:

— Не бойся...

А потом забрал, забрал, забрал...

Красное яйцо по песку могилки, похожему на тертый желток, торчат никогда не жившие искусственные цветы. И сосны гудят, как гудела тогда печка.

Милое детство. И не вернуть, и не вернуться. Ни гриппом, ни ветрянкой, ни булочками, ни сушеной черникой, когда скрутило живот.

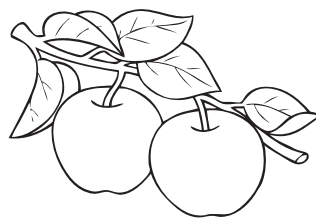
У кошки девять жизней, а у человека — три. Трижды умирает и заново рождается человек, как трижды меняет состояние вода.

Взрослеет дитя — твердеет беззаботный ручей детства из живой воды, застывает холодным жгучим льдом. Взросление — первая маленькая смерть. Новая вторая жизнь.

И разлетится лед на атомы, на колючие осколки, попадет в щеки, в глаза, в рот. Когда уходят родители, бабушки и дедушки, умирает человек во второй раз. Потому что никто теперь не вспомнит его маленьким. Совсем Никто — большой, осязаемый

и неведомый. Будто и не был ребенком — подтвердить некому, разве что пару фотографий взять, да и те не кажутся настоящими.

И с этим быть, и с этим жить, и смириться, и примерить на себя, и забыться, но не забыть. А уж потом третья смерть — последняя, паром от земли, в лопасти багрово-красного банщика, и лететь, лететь в неведомое, где ждут те, кто помнит и грипп, и ветрянку, и мольбы о полене из печки. И снова стать маленьким, крошечным, как испарившаяся капелька, атомом стать, и еще меньше, не кануть, не исчезнуть, но вернуться вновь, лишь коснувшись тех, лишь обняв тех, кто узнает в старухе болеющего ребенка, кто вспомнит, как просила она в бреду жара прогнать банщика и налить полную кружку холодной воды.



Анна Морева (Мария Викторовна Михайлова) (79 лет) – доктор филологических наук, профессор филологического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова. Автор более 500 статей о литературе и кино. Публикует архивные материалы, содействует выпуску книг «забытых» и незамеченных авторов с комментариями и предисловиями (более 40 изданий).

ПОТЕРЯННАЯ КОРЗИНКА

Она возвращалась домой, в Россию, после почти 10-летнего пребывания за границей. Ни на минуту не расставалась с большой плетеной корзинкой, где хранила свои рукописи. Так и носилась с нею как с писаной торбой всю дорогу от Парижа до Нижнего Новгорода, где ей, все еще находящейся под надзором полиции, разрешили проживать...

Высланная в Европу за участие в революционной деятельности, она не успела побывать во многих странах и городах. Но больше всего любила Париж. Сейчас, сидя в вагоне, она перебирала прошлое. Монмартр, мансарды, друзья-художники. Она им позировала и так зарабатывала на хлеб. Легкие, ни к чему не обязывающие связи, абсент, табак, ночные разговоры об искусстве...

Анечка внимательно прислушивалась к спорам. «Что сейчас модно? Куда движется живопись? Как следует передавать воздух?» Она впитывала, запоминала услышанное, пробовала это передать в словах. Да, надо учиться передавать мимолетное, ускользающее, переливы света и тени. В рождающихся

под ее пером картинках, зарисовках, сценках жили, влюблялись и умирали от любви те жалкие натурщицы, которыми пользовались, пока создавалась картина, а потом выбрасывали за ненадобностью на улицу. И они становились уличными девками, что произошло как-то и с ней: один из любовников продал Анечку в публичный дом в Гавре, где ей пришлось обслуживать пьяных матросов... Но она сумела оттуда сбежать и, побираясь, добрела до Парижа... И вот листки со всем ею запомнившимся и запечатленным теперь уже 30-летняя Анна Григорьевна везла в Россию.

Она не ошиблась. Рассказы, подписанные звучной французской фамилией Ронэ, понравились. И вот уже люди стали спрашивать друг друга: «Кто это? Мужчина или женщина? Откуда такое знание жизни?»

Анне действительно удалось пробиться на литературный Олимп, завязать знакомства в петербургских литературных кругах. Она посещала даже знаменитые ивановские «среды», но стояла обычно в сторонке, редко вмешиваясь в бурные разго-

воры. И никто, кроме самых близких друзей, не знал, чего стоило ей попасть в ряды небожителей, заслужить своей первой книгой «Навстречу жизни» похвалы Брюсова и Блока! Ведь когда она оказалась в Нижнем, ей, чтобы не умереть с голоду, пришлось почти каждый день писать новый рассказ и приносить его в местную газету. А для этого, купив огурцы, селедку и водку (она уже не могла обходиться без этой подпитки), просиживать над листом бумаги всю ночь. Тогда и превратилась Анна Григорьевна Миронова А. Ронэ.

Такая жизнь не могла не отразиться на ее внешности: лицо выцвело, появились морщины. Но, как и прежде, молодо светились голубые глаза: в них жила мечта, о которой она рассказывала каждому встречному и которая так не вязалась с ее обликом. Мечта, похожая на бред: встретить Великую Любовь. Его! О такой Великой Любви она и писала теперь. Не сценки и зарисовки владели отныне ее воображением. Нет, она грезила о невероятной близости, которая обещает неземное блаженство, о роковых страстях, о влечении, которое затмевает рассудок. Это было столь откровенно, что окружающие начали поговаривать, что Ронэ серьезно больна, что она свихнулась на любовной почве. И хотя в начале XX века свобода отношений уже определяла атмосферу, хотя раскованность становилась нормой, даже

на этом фоне почти непристойным выглядели ее писания.

Счастье поманило ее благодаря случайности. Ее знакомая вычитала в брачной газете, что агроном из Перми ищет жену, хочет уехать с нею в глушь и там работать. Она показала объявление подруге: «Смотри! Это тот, кого ты ищешь! Будете вдвоем. Вечно! И никого кругом!»

Анна не сомневалась ни минуты. Написала письмо, приложила к нему карточку, на которой была запечатлена молодой и хорошенькой. И агроном откликнулся, прислал денег на переезд. Дорога от Петербурга до Предуралья неблизкая. Она вышла на перрон неприбранная, непричесанная, и жених ее не узнал. Ей пришлось несколько раз пройти мимо. Наконец решилась: «Я Анна, та самая, которая...» «А... Ну что ж, поедем. Повозка ждет...»

Для Анны Григорьевны началась совсем неведомая жизнь в селе Опалиха Оханского уезда. Величественная Кама, горные хребты, разговоры с крестьянами. Весной — посадки в огороде, вечером разговоры... Все, о чем она мечтала, осуществилось: тишина, покой, не одинока. Но муж оказался молчуном, совершенно не разделяющий восторгов жены по любому поводу. А самое главное — его явно раздражало ее желание бесконечно беседовать о любви. «Какой она должна быть? Что значит родство душ? Может ли длиться вечно?» Вот вопросы, которые она задавала ему, а он никогда об этом и не заду-

мывался. Разговора не получалось. И Анна замолкала...

Наконец последовало бурное объяснение. Истерика, взрыв, обвинения в нечуткости и непонимании. Агроном наконец-то понял, кто рядом с ним. А услышав: «Я так больше не могу! Уеду!», — выкрикнул: «Ска-тертью дорога!»

Анна в беспамятстве собралась и через несколько дней очутилась в Петербурге. Но теперь ее почти никто не узнавал. С черным лицом, блуждающим горячечным взглядом она не находила себе места. Запестрели в ее паспорте штампы городов. Едва она успевала поселиться, как уже вновь собиралась в дорогу. Ее преследовали видения, мучилась виною... Но при этом не переставала писать. Только теперь писала о крестьянах-пасечниках, обнищавших господах, затерянных деревнях. Что-то бунинское угадывалось в ее рассказах. Но Бунин писал об этом лучше, тоньше, проникновеннее. Это была его почва, его опыт, его переживания. А то, что публиковала Ронэ, оказывалось добротным повторением пройденного. Так что и здесь Анну Григорьевну поджидал крах... Но она о нем не узнала.

...Как-то упала на улице в Москве в обморок неизвестная женщина. При ней не оказалось никаких документов, и ее отвезли в Старо-Екатерининскую больницу для бедняков. Там она в полубреду декламировала стихи, танцевала, чем очень веселила окружающих. Вскоре

умерла. Пять дней тело неопознанным пролежало в мертвецкой. Похоронили в общей могиле на одном из московских кладбищ. О смерти Анны Григорьевны — а это была она — друзья-литераторы узнали только 6 месяцев спустя. Заказали молебен, организовали вечер памяти. И тут спохватились: «А где же корзинка, с которой она не расставалась? Там же должны быть ее рукописи?» Хозяйка, у которой она остановилась, только мотала головой: «Не знаю, не видела. Она мне и не заплатила...» Похоже, что корзинка была выкинута как ненужный хлам...



Александр Александрович Бронников (49 лет) — родился в городе Сургуте Тюменской области Ханты-Мансийского автономного округа — Югры. Имеет высшее юридическое образование. С раннего детства увлеченный читатель. Первые рассказы стал писать в средней школе. В местных изданиях и альманахах печатались стихи.

О МУЖЕСТВЕ

Бело. Белесая пелена белизны. Неспешная метель поднимает клубы снега над черными трещинами кустов, над мохнатыми ветвями елей. Поднимает и опускает. Подкидывает и нежно катает по застывшим снеговым волнам. Глубокий снег, хороший. Умялся, уплотнел. Хорошо бежать по такому снегу, нырять в овраги, искать след добычи.

Тяжелому плохо, проваливается, вязнет, устает быстро. А ему, напротив, а ему хорошо, он легкий и быстрый. И спать на снегу хорошо. Заметет сверху, а нос к брюху прижмешь, и тепло. мех густой, плотный, ветер не добирается до костей.

У нее тоже мех, ей тоже тепло под снегом. Только вот малыш дрожит иногда, но она его всегда лапами своими запутает, прижмет, и он согревается.

Только один враг у них. Вечный враг. Один на троих. Страшный и вечный — голод. У голода нет времени, у него нет привычек, нет желаний. Он всегда здесь. Кружится, подвывает бархатной метели. А потом заурчит, заклопочет в брюхе и поднимет за ершистый загрявок. Топчите снег,

лапы-перелапы. Вынюхивай — ищи того, кто мог бы задобрить твоего вечного врага.

Затихает метель, и тучи уходят, уступая место бельму солнечному. Светит, да не греет желтоликое. По-выть бы сейчас, покамлать удачу на охоте, да луна где-то среди сосен затерялась. Запряталась, не показывается, а пора бы уже. Что-то тоскливо стало. Отряхнуться, размять лапы да в путь. А она уже рядом. Ластится, тычется мокрым носом в ухо. Щекотно. Малыш уже между лап пробрался, смотрит снизу-вверх, даже пасть открыл от восхищения. Какой огромный отец, какой лохматый и зубастый, вот силища!

А она свою голову на шею его могучую положила и трется, нежится. Но видно, голодная. Дрожит. На крайней охоте добыча небольшая была, она все малышу отдала.

Надо идти. Идти снег месить да пыль снежную нюхать. Должна быть сегодня добыча, должна. Только тоскливо что-то, тоскливо и муторно на душе. Еще луна эта, будь она не ладна, пропала, хотя должна была быть.

Скоро сумерки, нужно спешить. Метель совсем опала, снег искрится розовым. Хорошо бы ушастых погнать. Их тоже голод из нор вытащил, бегают плохо.

Он вытянул шею и глубоко задышал, мощно втягивая ноздрями морозный воздух. Там. У старой ивы. Несколько ушастых кормятся. Нужно обойти слева, там овраг.

Пошли вдоль берега у ледяного края озера. Он впереди. За ним — малыш. Старается в следы попадать. Следом — она. Мордой подталкивает пушистый зад со смешным лохматым хвостом.

Так и идут, вереницей, троица вечных странников, так и будут идти, подгоняемые врагом своим. Не остановятся, не скажут хватит, будут идти, пока силы не оставят. Будут идти и не думать, ради чего идут. Идут ради друг друга. Ради того, что тысячи лет так шли, а останутся, и исчезнет все, прекратится круговерть. И лес, и кусты, и ушастые — все исчезнет.

Поднял морду, принялся. Что-то постороннее, что-то странное там за высоким снежным берегом, что-то опасное. Хорошо, что стая недалеко, он их еще вчера почуял. Ему уже не вернуться, не примут, а она с малышом сможет. Нужно было их раньше отправить, да все не хотелось без теплоты их мохнатой остаться. Теперь поздно. Луна проклятая знала, все знала.

Снегоход выскочил из-за косогора, слепя фарами. Быстро, слиш-

ком быстро. Нужно идти спокойно прямо, как шли, иначе беда. Рыкнул через плечо. Она покорно идет, даже не повернется с сторону грохочущей машины. И малыш не дрогнул, не забился под материнское брюхо. Хороший малыш. Было бы больше времени, сделал бы из него настоящего охотника. И ушастых научил бы ловить, и сохатого загонять. Но времени больше нет. Осталось только выдержать, не дрогнуть, чтобы они живыми ушли. Там у большой звезды стая, они примут.

Мгновение — и снегоход рядом. Человек поднимается, вскидывает ружье. Ну же, стреляй! Вот он я, большой, красивый! Какая добыча! А ее и малыша потом можно будет, когда побегут.

Выстрел. Изумлен человек. Идет мохнатый, даже не пошевелился, а ведь попал, нет, точно попал. Что же он идет?

Больно. Никогда не было так больно, но нужно идти, спокойно, размеренно, идти так, как и шел, словно нет ничего: ни боли, ни крови по следу, ни человека.

Выстрел. Да что ж такое, и второй раз же попал, а он идет. Может, прицел сбился? Но почему не боится, не бежит?

Воздух стал как огонь, режет глотку, глаз застилает красное, правой лапы словно нет, но нужно еще немного пройти, вытерпеть. Скосил здоровый глаз, они уже у кустов, сейчас она повернется, заскулит, посмотрит слезящимися голубыми своими

глазами. Простится навсегда и растворится с малышом в чаще. Какая редкость — эти ее голубые глаза, как луна. Луна! Так вот же она где была, в глазах ее спряталась, прощаться пришла с самого неба.

Выстрел. Остановился. Сейчас упадет. Нет! Повернулся. Не может быть! Падай, падай, ты убит!

Теперь самое время. Они ушли, остались мы с тобой. Последние силы, яркий острый проблеск, последний. Рванулся вперед так, как никогда не бегал, два прыжка, и вот он.

Удар страшной силы в лобовое стекло снегохода. Ружье вылетает из рук далеко в сторону. Кровавый сгусток меха и ярости лежит на снегу. Человек, опомнившись, спрыгивает в снег, на ходу выхватывает нож, бежит. Вгоняет лезвие в еще теплое мохнатое тело. Поздно. Он уже мертв. Давно мертв. Он умер еще там, на тропе, когда она с малышом побежала к лесу.

Мертвым он шел дальше по тропе, мертвым бежал, мертвым прыгал.

Еще удар ножом. Бессмысленно. Даже крови почти нет, вся она там, на тропе осталась. Вон она, красная дорожка жизни. Вороны к вечеру склюют, снегом заметет, ничего не останется, словно и не было ничего.

Человек перетягивает петлей мохнатую шею. Вот так удача, какой здоровый попался. А где эта тощая со щенком? Надо же, совсем отвлекся на это чудовище, удрали. Но ничего, завтра приеду, может, снова выйдут сюда.

Снегоход ревет, вспахивает снежную целину. Волочится по снегу когтистая лапа, бьется по кочкам, словно из последних сил цепляется за белизну эту, за жизнь свою и чужую.

А вот и луна. Выпорхнула из-за крон елей, смотрит вслед. И там, у большой звезды, тонко, пощечьящему, завыл малыш.

